

Носов Евгений

Кукла

Рассказ

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, залило, забило песком последние сеймские омута.

Вот, говорят, раньше реки были глубже...

Зачем же далеко в историю забираться? В не так далекое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуны, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратно - круговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепы, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и ночью урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжело обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин-сом.

Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирает золотистый корд из обрезка приводного ремня - замышлял перемет. И все сокрушался: нет у него подходящих крючков.

Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из вороненой двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрел просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами повертел перед очками и насмешливо посмотрел на меня, сощутив один глаз:

– А я думал и вправду крюк. Придется в кузне заказывать. А эти уברי со смеху.

Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось, наконец, проведать старые свои сижы[3].

Поехал и не узнал реки.

Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жестким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буравили речную гладь литые, забронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы никак не могут попасть лесой в колечко – такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов... Ныне все это язевое приволье ощетинилось кугой и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобревшая от

избытка удобрений, сносимых дождями с полей.

"Ну уж, – думаю, – с Липиной ямой ничего не случилось. Что может случиться с такой пучиной!" Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину, и на том меляке – старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомек глупому, что еще недавно под ним было шесть-семь метров черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой.

Глядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмирившей водицей, Акимыч горестно отмахнулся:

– И даже удочек не разматывай! Не трави душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!

Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его старый речной перевоз...

На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в "Багратионе"^[4], вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце.

Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он – в Углич.

Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо. "Уж не помер ли?" – нехорошо сжалось во мне, когда я набрёл на обгорелые останки Акимычева шалаша.

Ан – нет! Прошлой осенью иду по селу, мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зеленый взгорok над Сеймом, гляжу. а навстречу – Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече – лопата.

– Здорово, друг сердечный! – раскинул я руки, преграждая ему путь.

Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.

– Ты куда пропал-то?! Не видно на реке. Акимыч вытянул губы трубочкой,

силясь что-то сказать.

– Гляжу, шалаш твой сожгли.

Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.

- Так ты где сейчас, не пойму?

Все еще не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.

– Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?

– А-а? – вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.

Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было еще солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звездочки цикория и еще шарят по запоздалым шапкам татарника черно-бархатные шмели. А воздух уже остер и крепок и дали ясны и открыты до беспредельности.

Прямо от школьной ограды, вернее, от проходящей мимо нее дороги, начиналась речная луговина, еще по-летнему зеленая, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив луг был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землей и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть, на спортивной площадке, раздавались хлесткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия.

Все это время Акимыч шел впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил:

– Вот, гляди...

В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.

– Это чья же работа?

– Кто ж их знает... – не сразу ответил Акимыч, все еще сокрушенно глядя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. – Нынче трудно на

кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там – под забором ли, в мусорной куче – выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает, – без головы или: без обеих ног... Так мне нехорошо видеть это! Аж сердце комом: сожмется... Может, со мной с войны такое. На всю жизнь; нагляделся я человечины... Вроде и понимаешь: кукла. Да, ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитя не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги – не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо – каждый по своим делам, – и ничего... Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках – бровью не поведут. Детишки бегают – привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром – в школу, вечером – из школы. А главное – учителя: они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю. Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!... Эх!...

Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное.

Я уже знал, что Акимыча опять "заклинило" и заговорит он теперь нескоро.

Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновьи уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне, принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату.

И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью:

– Всего не закопать...

1959